



РАССКАЗЫ
ДЛЯ ДУШИ

Маруся Светлова

КОНЕЦ СВЕТА ПО-БОЖЕСКИ



ЖИЗНЬ ЕСТЬ ТО, ВО ЧТО ТЫ ВЕРИШЬ

Рассказы для души

Маруся Светлова

Конец света по-Божески (сборник)

«Маруся Светлова»

2018

Светлова М. Л.

Конец света по-Божески (сборник) / М. Л. Светлова — «Маруся Светлова», 2018 — (Рассказы для души)

ISBN 978-5-904777-08-1

Сборник эзотерических рассказов, входящий в серию «Рассказы для души». Это действительно рассказы для души, рассказы о душе. О нашей жизни и наших уроках, которые мы в ней проходим. О высшей закономерности того, что происходит с нами в жизни. О высшей справедливости. О любви, которой наполнены наши сердца, которая есть выражение нашей души, соединяющей нас с Богом. О поиске этой любви в себе. О нашей ответственности за то, как мы живем и что создаем своими жизнями в жизни планеты. О соединенности каждого из нас с единым целым. Рассказы о том, что каждый читатель увидит в них сам – потому что они многогранные, разные, и вибрации их трогают душу, помогая осознавать самого себя, свои поступки и события своей жизни.

ISBN 978-5-904777-08-1

© Светлова М. Л., 2018

© Маруся Светлова, 2018

Содержание

Не беги...	5
Прощание с росой	12
Награда для души	22
Жизнь по Плану	28
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Маруся Светлова

Конец Света по-Божески

Не беги...

Ключ не поворачивался в замке, что-то там заедало, и она бестолково тыкала ключом еще и еще, пытаясь повернуть его.

Наконец он повернулся, и она закрыла дверь и раздраженно подергала ручку двери, – несколько раз она, вот так в спешке убегая из дома, не закрыла дверь, и этот жест – подергать ручку, чтобы проверить, заперта ли дверь, стал каким-то навязчивым.

Она бежала вниз по ступенькам, потому что лифта ждать было некогда, и на ходу пыталась открыть сумку, чтобы бросить в боковой кармашек ключ.

Но «молния» все никак не нащупывалась, как будто бы язычок «молнии» просто исчез, и это разозлило ее окончательно: что за день такой – дверь не закрывается, сумка не открывается.

Наташа остановилась, нетерпеливым и нервным жестом развела ручки сумки, чтобы найти исчезающий язычок «молнии», расстегнула сумку, бросила в кармашек ключи, застегнула сумку и помчалась дальше, опять подумав: ненормальный какой-то день.

День был действительно ненормальным. Будильник не зазвонил, хотя она была уверена, что подняла вчера кнопку звонка. Пока она в спешке собиралась – кофе сбежал, оставив на вымытой только вчера плите жуткие коричневые разводы. Колготки, уже надетые, оказались со спущенной петлей, и пришлось суматошно искать другие, и они не находились, одни были в стирке, другие, которые она уже начала надевать, тоже оказались с дырой. И вроде была еще новая, распечатанная пара, но она не находилась в шкафу, и Наташа раздраженно подумала, что вот распечатала колготки и уже небось порвала – и даже не заметила. И подумала уже тогда – ну что за жизнь... И что за день такой ненормальный...

И дочь ее, вредная тринадцатилетняя Сонька, уже с утра успела испортить настроение – вышла из комнаты и давай своим ноющим голосом говорить:

– Мам, ты же обещала со мной сходить... Ты опять на целый день убегаешь... Тебе всегда некогда...

И голос ее ноющий, и обида, которая чувствовалась в ее словах, – взбесили. «Ты же обещала!.. Ты же обещала!..» Мало ли чего она обещала?! Она работает как вол, ей некогда, она что – маленькая? Она что – не понимает?

Но Сонька смотрела на нее огромными своими синими глазами, и был в этих глазах такой укор, такая детская обида, что это взвело ее окончательно. Она что – дура?.. Она что, не понимает, для кого мать старается?.. Для кого ни свет ни заря уже на ногах и будет весь день как проклятая носиться от клиента к клиенту, от одного показа квартиры до другого, для кого она это делает?..

Сонька ушла к себе, хлопнув дверью, и хлопок этот вызвал в ней еще больше раздражения. Дрянная неблагодарная... Мать старается, старается, чтобы заработать, чтобы ей же, паразитке, нормальную жизнь создать...

И, раздраженная, не допила кофе, поставила чашку в раковину. Схватила было в руки мочалочку, чтобы чашку помыть и пятно это кофейное вытереть, – но на часы взглянула и помчалась.

А дальше – дверь не закрывалась. Сумка – не открывалась...

Дверь машины тоже не открывалась, и это было уже похоже на издевательство. Именно сейчас, когда она так спешила, когда до встречи с этой вредной клиенткой, зажавшейся и капризной, оставалось всего полчаса, машина не открывалась.

Она несколько раз дернула ручку и чертыхнулась, потому что ведь сколько раз уже собиралась заехать в сервис и звонила уже своему мастеру – работы там было на несколько часов, – но все было некогда, и дверь эта недоделанная так и вела себя: как хотела. То не хотела открываться, то не хотела закрываться. То вдруг распахивалась в самом неподходящем месте, во время движения или парковки.

Наташа, уже в который раз со злостью подумала о тех уродах, которые ее машину взломали и что-то там в замке повредили. И о себе подумала раздраженно – всегда ей некогда, все – бегом. Поставила тогда машину у дома, нужно было рано ехать на показ, боялась опоздает, если со стоянки машину будет забирать. И хватило-то одной ночи, чтобы дверь повредили. Хорошо еще – не угнали...

Она дернула ручку двери еще раз – и та не открылась, и она вдруг подумала: а может, и не нужно никуда ездить? Если все не получается, если день такой ненормальный...

И правда – что-то было не так сегодня с ней, с этим днем. И ночью она спала как-то плохо. Снилось ей что-то, что она сразу забыла, когда проснулась, – но плохое что-то снилось, в этом она была уверена. И день весь не задался...

Хотя, – опять раздраженно подумала она, – день как день. Обычный день. Все в спешке. Все на нервах. Некогда остановиться и нормально кофе выпить или с дочерью нормально поговорить. Потому что – конечно же, права Сонька. Ей, Наташе, всегда не до нее. Некогда с ней поговорить по-человечески, некогда рядышком посидеть, как раньше, когда была она маленькой и они вместе книжки читали или рисовали, или просто Сонька болтала, детские свои секреты рассказывая, а Наташа вполуха слушала. И было им вместе хорошо...

И вспомнилась ей вдруг бабушка Муся, старенькая уже, маленькая, и как говорила она ей все время:

– Не беги... Не беги... Ну куда ты все торопишься?.. Куда ты все несешься?..

Дверь неожиданно открылась, и она села на сиденье, несколько раз хлопнула дверью – чтобы закрыть ее, и уже повернула ключ и поставила ногу на газ, как вдруг неожиданно вспомнила, как бы почувствовала сегодняшней свой сон. Что-то было в этом ее сне такое вот суматошное. Куда-то она там тоже бежала, куда-то спешила, И что-то тревожное там было, что-то важное было в этом ее сне. И она, даже забыв на несколько секунд о своей спешке, замерла, прислушиваясь к себе, всматриваясь в себя, как бы желая увидеть – что же там было? Но то зыбкое, что промелькнуло в ней как тревожное облачко – не вспоминалось.

И она завела машину и тронулась с места. И поехала, набирая скорость, входя в привычное для нее состояние водителя, привыкшего ездить лихо, торопясь, лавируя, чтобы наверстать время, которого ей всегда не хватало.

И мысли текли в ней так же вот быстро и отрывочно, переключаясь с одной на другую. Вспомнилось ей, как много лет назад она решила купить машину, и папа – тогда еще живой – испугался за нее очень, и уговаривал ее, и говорил горячо:

– Ну, куда тебе еще машина – и так носишься как угорелая... Ты же не сможешь нормально ездить, ты же все мчишься... Ты же угроза на дороге...

И воспоминание это, о папе, опять как-то взволновало, взбудоражило ее: что-то там было в этом сне, что-то связанное с папой. И она опять на несколько секунд погрузилась в себя, даже забыв контролировать движение, но никак не вспоминался этот странный, как будто бы знакомый своей тревожностью и спешкой сон.

Она ловко перестраивалась и проезжала иногда почти по тротуару, экономя даже не минуты – секунды, так было привычно – спешить и опаздывать, и обгонять, и торопиться.

И опять мысли ее потекли урывками. И вспомнилось ей, как училась она водить машину, и инструктор ей вспомнился, волооккий такой пожилой уже дядька, но – кот, какого свет не видел, и как он все норовил ее за коленку потрогать или прижаться ненароком, и как ее смешили его приставания, и она сказала ему однажды:

– Слушай, ты, старый пень, отвали... – и пришлось ей права покупать, потому что он после этого на нее обиделся и только критиковал. И некогда было ей ходить на вождение. И права она купила, и по глупости дома об этом рассказала, и папа на нее рассердился. Рассердился как-то серьезно, как даже в детстве не сердился за ее провинности. И говорил:

– Куда ты все торопишься... Ну куда ты бежишь... Ты что, не понимаешь, что это серьезно... Что тут нельзя торопиться...

И это воспоминание о папе вдруг как бы высветило кусочек ее сна.

Там был папа.

Там был умерший ее папа.

Там, в этом ее странном тревожном сне, был папа, и он стоял и обнимал ее. Или – отталкивал?

Что-то странное там было. И неприятное. Потому что, чего уж тут хорошего – стоять во сне рядом с покойником?

И вспомнилась опять ей бабушка, которая говорила:

– Опять я во сне маму свою видела... Не к добру это... Ох, не к добру...

И она, маленькая Наташа, любопытная и заинтригованная бабушкиной интонацией, спрашивала:

– А почему – не к добру? Что тут плохого?..

И бабушка тихим, спокойным голосом говорила ей, обнимая ее за плечи:

– Не к добру это, если покойник снится... Пришел он за тобой с того света... Зовет...

И папа Наташин сказал тогда:

– Глупости это старорежимные, мать. Прекрати ребенку голову дурить... Покойники снятся – к дождю, – произнес он как-то иронично-весело, и Наташа рассмеялась, ей эта версия гораздо больше понравилась. А бабушка только головой покачала и ничего не сказала...

И сейчас, как бы захлопывая этот открывшийся ей кусочек сна, Наташа подумала – и ничего в этом такого нет. Подумаешь, папа умерший приснился. Покойники – это к дождю. И – даже на небо посмотрела сквозь ветровое стекло, как бы желая подтвердить свое предположение.

Но небо было чистым. А впереди была – пробка. Небольшая такая пробочка, которую надо было Наташе объехать.

И она повернула в маленький переулок, давно уже обнаружила она этот путь объезда, повернула резко, на скорости, и дверь с ее стороны как-то стукнула, и Наташа нервно схватилась за ручку двери и на ходу приоткрыла и захлопнула ее, подумав, вот черт – так и вывалюсь когда-нибудь...

И тут же вспомнилась ей тетя Нина, мамина сестра, всю жизнь водившая машину, с которой родители и Наташа в детстве объездили весь Крым и ночевали в палатках, и однажды Наташа даже увидела в воде дельфина – совсем рядом. Настоящего живого дельфина – сильного, с тугим телом, черным добрым глазом, который вынырнул рядом с ней, почти на мели, так, что Наташа даже испугаться не успела, – и исчез. И все говорили потом – это к шторму. И был шторм. И их палатку залило водой...

И Наташу эти воспоминания как-то успокоили, она даже плавнее стала вести машину. И подумала о тете Нине – как хорошо она, плавно, спокойно всегда водила машину. И никогда не нервничала за рулем.

– Нет, – тут же поправила себя Наташа, – один раз она так расстроилась. И испугалась. И говорила нервно, с бледным лицом: «Господи, я же тебя чуть не потеряла... Господи, ты же могла выпасть...»

Это случилось, когда на повороте дверь с Наташиной стороны вдруг резко распахнулась, – не закрыла ее Наташа, когда садилась, не захлопнула хорошо. И действительно – могла выпасть во время движения. Прямо под колеса проезжающих машин...

И это воспоминание опять вернуло Наташу в ее сон.

Там была тетя Нина.

Там была тетя Нина, умершая два года назад.

Там, во сне, она обнимала ее нежно, и в глаза ей, Наташе, заглядывала, и говорила что-то. Говорила мягко, как будто убеждала, уговаривала, как в детстве уговаривала, когда она не слушалась маму, – не хотела чего-то делать или не хотела идти спать.

Тетя Нина никогда не говорила жестко, она всегда говорила мягко и нежно, прижимая ее к себе, глядя по плечу, и всегда, сколько помнила себя Наташа, – всегда ее убеждала. Что-то было хорошее в ее интонации, миролюбивое, дружелюбное, такое, что Наташу успокаивало и делало послушной, мягкой. И она подчинялась, соглашалась – и шла спать или делала то, что еще несколько минут назад не хотела делать.

И сейчас воспоминание из этого сна на несколько мгновений сделало ее спокойнее, хотя – чего хорошего в этом сне, если там умерший человек тебя обнимает и что-то тебе нежно говорит?

И опять подумала она: «Покойники – это не страшно, это – к дождю...»

Но, почему-то опять ей вспомнилась бабушка, какое-то ушедшее в глубину, отстраненное выражение глаз бабушки перед смертью, когда она, выпав из забытья, сказала тихо, странным голосом, совсем не бабушкиной интонацией:

– Я сейчас всех их там повстречала – и маму, и папу, и сестренку, которая умерла, когда мне было три года... Обнимали меня... Целовали... Родовались...

И это ее «обнимали... целовали... родовались», сказанное «не бабушкиным» голосом, было почему-то тоже странным, пугающим. Потому что слова эти, выражающие принятие и радость в сочетании с покойниками, действительно могли кого угодно испугать.

И воспоминания эти напрягли ее, и она нервно как-то нажала на газ, нажала там, где нажимать совсем не надо было, и еле успела затормозить перед перекрестком, чуть не ткнувшись в затормозивший перед ней джип.

Она затормозила и выматерилась, выматерилась почти по-мужски, как иногда делала, когда ее выводили из себя, или когда, как сейчас, напряжение выдавало себя. И, пока стояла на перекрестке, выматерилась еще пару раз, обругав и себя, паразитку, которая чуть не ткнулась в говняный джип, – сколько вони было бы, если бы она его все-таки ткнула. Обругала и джип, и этот перекресток, и пробки на дорогах, и всех водителей-мудаков, которые вылезли на дороги, нет чтобы на метро ездить! – а она должна уворачиваться и рисковать жизнью и деньгами...

И опять мысли ее потекли бурно, быстро, в какой-то мешанине. И были там мысли и про дочь, бестолочь, с которой проблем не оберешься – и когда она только такой вредной успела стать? Даже не заметила Наташа, когда из малышки со светлыми косичками выросла она во вздорную, самолюбивую девочку-подростка. Потому что все время было некогда – нужно было деньги зарабатывать, и разводиться, и личную жизнь строить, и с очередным козлом разбираться, и квартиру менять, и всегда была спешка, всегда было некогда. Некогда остановиться и понять или увидеть то, что надо было увидеть.

И подумалось ей вдруг о даче, почти заброшенной ею, до которой руки все не доходили. И забор там уже почти повалился, и душ забился, но все было некогда выкроить день, чтобы съездить на дачу: то показы, то свидание с очередным ухажером. То дела домашние или суматошные какие-то набеги на магазины.

И вспомнилось ей, пока она лавировала между машинами, резко перестраиваясь из ряда в ряд, как любили они раньше с Сонькой приезжать на дачу, какой самовар там разжигал Славка, бывший Наташин муж, какие чай с мятой и мелиссой они там пили...

Сейчас не было уже рядом Славки, и как-то так получалось, что не было времени с Сонькой поговорить по-человечески, не было времени распивать чай на даче...

И опять вспомнилась ей бабушка, и это ее: «Не беги... Не торопись... Не спеши...»

И – что-то еще говорила ей бабушка, что-то важное ей объясняла в детстве, что нужно было ей, Наташе, сейчас вспомнить, но дали зеленый свет, и она нажала на газ и не убирала ноги с педали, потому что уже опаздывала, и клиентка действительно была противной, капризной, – Наташа уже с ней намучалась: то она встречу отменяла, то в последнюю минуту передумывала брать квартиру, которая уже шла на оформление. И Наташа мчалась, лавируя в потоке машин, встраиваясь в узкие места, делая резкие повороты, подсекая водителей, заметив не раз в боковом стекле злое выражение лица или поднятый вверх палец. Но – некогда ей было – она спешила.

И опять вспомнилась бабушка с этим вечным ее – «Не беги... Куда ты спешишь – на тот свет?..»

И почему то именно эти последние слова и как бы высветили еще один сюжет сна.

Там была бабушка.

Она держала ее, Наташину, руку.

И она что-то ей говорила, что-то важное.

И Наташа опять напряженно начала вспоминать, что там важное происходило, что важное они ей там говорили, – и опять на секунду жутко ей стало от этой картинки – трое покойников обнимают ее и что-то проникновенно ей говорят.

Что-то такое ужасное было во всем этом, что ее, Наташино, спасительное, «покойники – это к дождю» больше не действовало, и она в напряжении от этих своих мыслей и каких-то жутких ощущений от почти вспомнившегося сна, который оставался пока немым, как живая немая фреска, нажала на газ сильнее.

И уже не контролировала нажатие педали, потому что увидела вдруг все целиком.

Всю эту живую фреску.

Бабушка держит ее за руку, как будто хочет удержать ее.

Папа отталкивает ее, как будто прогоняет, не дает ей пройти туда, за него, в какой-то коридор.

Тетя Нина обнимает ее и гладит по плечу. И не просто обнимает – загораживает собой проход в этот коридор...

И, изумленная этой картинкой, она вообще перестает что-то видеть, как бы уйдя в себя, пытаясь разглядеть, что там, и вспомнить, что они говорили. Что они, черт побери, там говорили?!

И в этом напряженном погружении в себя, въезжая в тоннель, она уже не следит за дорогой. И нога ее, вжатая в газ, только придает силы ее погружению. И в момент удара и вспышки, ослепительной и яркой, разорвавшей ее мозг, вдруг ясным становится все – и вся картинка, и краски оживают, и звук появляется.

И немое это кино становится вдруг осмысленным, и они все говорят ей одно. Говорят на разные лады с разными интонациями, говорят, перебивая друг друга – и отталкивают, отталкивают, не дают ей пройти, не пускают ее туда, куда она так спешит, куда она бежала, бежала и почти добежала, но они не дают ей бежать дальше и все говорят:

– Не беги... Остановись... Не спеши... Не беги... Остановись... Не спеши...

И секундная эта вспышка уже заканчиваясь с закончившимся ее сознанием и оборвавшейся жизнью в последней, уже почти тусклой яркости высветила, как упрямо отталкивая их – вбежала она в темный этот коридор...

И уже не во сне, а в жизни, которая закончилась, – бежала она по темному коридору, бежала к какому-то свету вдали, и странный этот коридор был калейдоскопом картинок, как будто проносились мимо своей жизни быстро, в темпе, в котором и бежала всегда.

И в этом калейдоскопе была сегодняшняя ссора с дочерью и лицо противной клиентки, и дача с поваленным забором и неотрегулированным душем, и развод, и какое-то отстраненное лицо мужа после развода, и ее торжество, и свадьба их пятью годами раньше мелькнула –

какая счастливая она тогда была в своем белом платье. И мелькнула даже ее институтская подружка, имя которой она давно забыла, но у которой взяла учебник, да так и не отдала, и она, мчась по этому калейдоскопу, даже успела удивиться, что все это помнит, и увидела себя выпускницей с марлевой повязкой на ноге – так некстати разбила она себе коленку, что пришлось с забинтованной ногой и в белом платье идти на выпускной вечер.

И шпаргалки на экзамене по биологии были в этом калейдоскопе, и мальчик с рыжими ресницами, в которого она была влюблена в первом классе, и рыжая кошка Мурка, окотившаяся как-то прямо в ее детской постельке, и бабушка, таинственным шепотом говорившая ей:

– Ты маме с папой не говори, что кошка у тебя окотилась, им это может не понравиться – и они кошку прогонят...

И она, Наташа, совсем еще малышка, дошкольница – спросила:

– Мы их обманем?

– Нет, – сказала бабушка, – обманывать – большой грех. Мы просто кошку спасем от голодной жизни на улице...

И ей, Наташе, было достаточно такого объяснения.

И бабушка была в этом калейдоскопе, бабушка Муся, милая, родная, теплая, с которой она спала первые годы своей жизни и делила свои детские секреты, которая и говорила ей что-то важное, чего она не успела сегодня вспомнить – и вдруг, в этом калейдоскопе вспомнила, увидела.

Как бабушка ее любимая читает ей закон Божий и объясняет ей десять правил, по которым всем людям надо жить. И правило это, которое все хотела вспомнить она сегодня и все не успевала, потому что спешила, спешила, торопилась – так и называла бабушка: не торопись, остановись, не беги.

И увидела она вдруг, как будто лента на время остановилась, – бабушку, милое лицо ее, глаза добрые и слова ее понятные, специально для нее, Наташи, подобранные.

– Четвертое правило называется – найди время для остановки. Потому что если ты все время будешь торопиться, бежать, то душа твоя может не успеть за тобой и потеряться. И что тогда ты без души? Просто тело одно останется, а тело, как известно, без души жить не может...

И бабушка читала ей текст из этого Божьего закона...

И опять говорила понятным ей языком:

– Ты вот все торопишься, все бежишь, а так можно и упасть, и разбиться, и погибнуть... Спокойно нужно по жизни идти. Спокойно и осмысленно. Потому что жизнь у тебя одна, и душа – одна... Шесть дней поработала – седьмой день посвяти себе, своим близким, своей душе, чтобы понять, как жить дальше... Остановись. Осмысли свою жизнь. Помолись. И живи дальше спокойно...

И опять помчалась лента.

И за этой картинкой в калейдоскопе появились детские качели в их дворе.

Маленькая лягушка на маленькой ее ладошке и мамин окрик, когда та с ладошки лягушонку эту сбросила и потащила Наташу, громко заревевшую, мыть руки...

И полумрак в комнате, и мягкий свет от елочных огоньков.

И мамино лицо, нежное и тревожное, при свете ночника, когда она, Наташа, болела.

И погремушка ее любимая, красная, которую она любила засовывать в рот и набухшими десенками, когда зубки у нее прорезывались, кусать.

И зыбкое ощущение во сне – удобства и покоя, когда тебя пеленают в мягкую пеленку.

И – материнский сосок во рту с теплым и живительным молоком.

И первый крик свой, громкий и отчаянный крик человека, вошедшего в жизнь.

И первое свое, глубокое дыхание – последнее воспоминание в оборвавшейся жизни, ставшее последним ее глубоким дыханием...

И душа ее, освобожденная от тела, набирая высоту в свободном своем полете, несясь вверх, к свету, которым и была, улета, видела тело женщины, выброшенное мощным ударом от столкновения со стеной тоннеля через распахнувшуюся дверь. И было это тело почти как живое, только – череп – расколот, и островки серого вещества были разбросаны веером, и одна нога тела была вынесена вперед, как бы в беге, и тело наклонено, и рука тянулась вперед, и казалось – она все бежит.

Все бежит...

Все спешит...

И захотелось крикнуть ей оттуда, с высоты – не беги...

Не беги-и-и...

Небе-ги-и-и-и-и-и-и....

Прощание с росой

Тюльпан опять закачался, и она посмотрела на него с неприязнью. Уже в который раз она наблюдала эти непонятные колебания и каждый раз испытывала какую-то скрытую, тревожащую ее неприязнь.

Сначала эта неприязнь была просто выражением ее непонимания – с чего это вдруг ни с того ни с сего начинает качаться один тюльпан в букете, стоящем на столе? Это было непонятно и неправильно, потому что уж если какая-то вибрация и заставляла незаметно качаться стол, то качаться должны были все цветы в букете, а не один. Но качался один цветок, отстоящий от других крупный тюльпан, и она вчера даже переставила вазу чуть правее, хотя сама не понимала, зачем это делает. Стол не дрожал, ничего в квартире не шевелилось, только этот бестолковый тюльпан вдруг начинал дрожать. И она подумала, что все дело в стройке, которую ведут прямо за их домом, и что-то там постоянно забивают, и, наверное, все-таки земля вибрирует от этих строительных работ... Но почему все-таки качается один тюльпан, а не все цветы в вазе?

И было это непонятно и тревожно, и уже почти привычно, потому что за последние несколько дней она не раз наблюдала эту внезапную дрожь, как будто кто-то невидимый задевал цветок, и он еще долго успокаивался, приходя в состояние покоя.

Оля посмотрела на окно, за которым была стройка, посмотрела на букет и отмахнулась от этого неразрешимого вопроса, потому что ответа не было. Не было нормального разумного ответа, а неразумного она дать себе не могла – ну не объяснять же себе, что это делает какой-то живущий в доме барабашка или домовая? Хотя она сама не так давно говорила своей подруге Аняте:

– Слушай, у меня точно в доме барабашка завелся. То кухонное полотенце вдруг со спинки стула само слетело, как будто его нечаянно задел кто-то. То в комнате вдруг шторы зашевелились, как будто их ветерок раздувал, но окно-то было закрыто...

И непонятно это было, и тревожно, и просто неприятно, как неприятно все, что человек сам себе объяснить не может.

И она опять с неприязнью посмотрела на тюльпан, на весь букет, обвела взглядом всю свою комнату, просто обставленную, но уютную и чистую, и опять испытала неприязнь ко всему, что увидела.

Но неприязнь эта сейчас была не к комнате, а к тому, что видела эта комната, как будто стыдно было Оле и перед этим по-дурацки дрожащим тюльпаном, и перед самой комнатой за то, что они видели. За то, что они все были свидетелями того, что только что произошло.

Он опять ударил ее. Ударил просто и буднично. Ни за что. Просто стукнул кулаком куда-то в висок, потому что она успела увернуться, и удар пришелся не в лицо. Но больно было все равно. И унижительно. И страшно. Страшно, что это происходит в ее жизни. Что это происходит с ней, с Олей Ивановой, которая думала, что с ней такое никогда не может произойти. Потому что просто не может с ней такого произойти. Не может и все. Потому что она сама так решила еще в детстве. Потому что ее маму часто бил отец, и она видела мамины слезы и унижение. И сама плакала и говорила: «Мамочка, давай уйдем от него... Мамочка, уходи от него, он плохой...» И была уверена, что у нее никогда не будет такого мужа, как ее отец.

Она боялась отца. И отстранялась от него, когда он был дома, даже когда он был трезвый и хотел погладить ее. Но она не верила ему, просто не могла поверить тому ему, доброму, которым он иногда был. Потому что он был недобрым. Он бил маму.

И даже когда Оля выросла и отец умер, она не простила ему своего детства и своих страхов, и маминых слез, и своего детского одиночества, и какого-то скрытого, но иногда проявляющегося чувства вины, что она не могла защитить свою мать, когда отец поднимал на нее руку. Не могла защитить, потому что сама боялась его. Боялась панически, до какого-то ужаса,

и только уши затыкала, когда начинались скандалы, и молилась про себя: «Господи, пусть он успокоится!.. Господи, пусть он не трогает маму!..»

И тогда еще, в детстве, решила, как клятву себе дала, что никогда-никогда ее муж не поднимет на нее руку. Никогда-никогда она не позволит себя бить.

Он ударил ее сегодня опять, уже в который раз. Ударил просто так, за то, что не подала ему сразу свитер, когда он собирался на работу. Он опаздывал на смену, был с утра какой-то взвинченный, злой и сказал ей резко:

– Слышь, ты, дай свитер, тот, с синими полосками...

И она сказала ему:

– Возьми сам в шкафу на верхней полке...

И не успела еще добавить, что сама пойдет и быстренько соберет ему с собой обед, она каждый день это делала, потому что раньше заводская столовая работала, а сейчас бригада сама себя прокармливала, и ходили мужики на работу с пакетами и котомками, как дети в школу...

И не успела она ему сказать это, как глаза его сузились и стали злыми, и она уже знала этот взгляд – тяжелый и непонимающий, как будто он становился не он. Становился каким-то другим человеком – страшным и бесчувственным. И он сказал ей:

– Слышь, ты, я тебе сказал, дай свитер...

И она торопливо сделала шаг по направлению к шкафу, уже понимая, чем все сейчас кончится и все-таки надеясь, что этого не случится, что успеет отойти, и все эти чувства и мысли пронеслись в ней со скоростью света, но она не успела. Успела только голову отвести, и удар пришелся на висок, но больно было все равно. И унижительно было. И страшно.

И когда он ушел, она вернулась в комнату, свернулась комочком на кровати и плакала. Плакала даже не от боли, не от страха, не от унижения. А от того ужасного, непостижимого осознания, что это происходит с ней, Олей Ивановой, с которой этого никогда-никогда не должно было произойти. И она долго еще лежала, глядя в потолок, и думала – почему, ну почему, ну почему, ну за что...

И когда голову повернула к окну, увидела этот дрожащий тюльпан и испытала неприязнь и к нему, непонятно почему дрожащему, и ко всей этой комнате, которая была свидетелем ее унижения...

...Тюльпан закачался, потому что он, находящийся за тюльпаном, его бестелесная сущность, завибрировала, задрожала, и вибрации ее задела тюльпан.

Он завибрировал сильно и резко от этого неожиданного удара, когда ударили его дочь. Он завибрировал сильно и резко, как если бы ударили его, если бы вот так неожиданно унизили его самого. И сделать он ничего не мог. И защитить ее не мог, и помочь не мог. Ничего он не мог, мог только переживать ее боль и унижение, потому что на самом деле это были его боль и унижение.

Эти удары попадали в него. Он чувствовал их боль тысячекратно сильнее, тысячекратно страшнее, потому что чувствовал он ее через чувство вины – такое глобальное и страшное, что даже подумать не мог когда-то, представить себе не мог, что может его испытывать, что вообще есть такое чувство, что так страшно и больно будет ему самому за то, что он когда-то делал. За то, что сам когда-то бил свою жену. За то, что сейчас бьют его дочь. За то, что его дочь сейчас бьют именно потому, что он когда-то бил свою жену и его девочка, выросшая рядом с униженной, забитой матерью, выросла такой же запуганной и не могущей за себя постоять. И неминуемо получила то, чего так не хотела в своей жизни, – побои и унижения.

Он никогда раньше об этом не думал. Он никогда не думал о том, что делает. О том, хорошо это или плохо. Он просто делал это, так как делали его отец, его дед и, наверное, все мужики в их роду, – они били своих жен. Просто били. Ни за что ни про что. Просто за то,

что суп холодный. Просто за то, что слово поперек сказала. Просто за то, что баба – и должна знать свое место.

Просто за то, что так надо делать – дать по роже, или по заднице, или отметелить. Выпустить накопленное зло. И разница была только в том, кто как бил. Кто чем бил. Кулаками. Или вожами. Или оглоблей.

Он не помнил, когда его отец впервые ударил его мать. Наверное, это происходило всегда, когда он был еще мал, и он принял это как норму, как правило жизни: женщину можно бить. Женщину нужно бить. На ней можно вымещать зло и раздражение. Но он помнил свою мать, тихую и какую-то отстраненную, которая смотрела на него иногда с опаской и говорила тихим голосом, и глаз не поднимала, когда говорила с мужем и сыном, боясь этих мужчин, – старшего, жестокого в своей злобе и младшего, выросшего в неуважении к матери, к женщине, и потому тоже опасному.

Уже потом, став старше, он не раз присутствовал при семейных скандалах, просто при том, что отец, раздраженный чем-то, мог прикрикнуть на мать, или дать ей тычка, или зло обозвать, и дергался он как-то от происходившего, но отец, видя его нахмуренность, говорил: – Ничего, брат, с этими бабами только так и можно... Пусть знает свое место...

И потом как-то стало это привычно. И он либо отстранялся, когда случались такие сцены, либо уходил.

И сам потом, будучи парнем, ударил девочку, с которой дружил. Просто вмазал ей по губам, когда она его обозвала недотепой. Вмазал и понял отца – баба должна знать свое место.

И потом бил свою жену. За дело, не за дело – он об этом не думал. Как вообще не думал о своей жизни. Просто жил, как все. Как отец жил. Как дед жил. Не хуже, не лучше – как все...

Сейчас, будучи бестелесным и прозрачным, потеряв свое тело и став тем, кем стал, неприкаянной и непрощенной грешной душой, мятущейся и страдающей и бессильной что-то изменить, он мог только наблюдать плоды своих рук, последствия своих страшных дел и ошибок, своего невежества и своей бесчувственности.

И было это страшным наказанием, страшным и непрекращающимся, бесконечным, потому что не было прощения за все эти прегрешения, и пока не было прощения от тех, перед кем ты нагрешил, – не было и отпущения. Не было свободы подняться ввысь и слиться с чистыми, прощенными и просветленными любовью душами. Не было свободы и позволения подняться туда и слиться с этой чистотой и принятием, светом и гармонией, потому что грязной была его душа. Его – и миллионов, миллиардов таких вот непрощенных грешных, делавших больно другим, обманывавших и предававших, унижавших, живших в злобе и зависти, во тьме и в грязи.

И души их, высвобожденные из тел, выпущенные наружу и отвергнутые землей, не были приняты и небом. И миллиарды этих непринятых душ, не попавшие туда, в свободу и чистоту, в любовь и гармонию, в состояние, которое люди называли словом «рай», были обречены оставаться между небом и землей. В своем самими же ими созданном аду. И ад у каждого был свой. Страшное осознание своих ошибок и полная невозможность их изменить.

Он помнил, как начался его ад. Как, умирая, он, это бестелесное и прозрачное создание, которое называлось людьми душой, помчалось туда – ввысь, к свету, и как, мчась туда, перед ним, уже бестелесным, вдруг пронеслись все картинки его жизни. Все его ошибки, все его отвратительные поступки, за которые он не получил прощения, все его прегрешения, которые он сам не осознавал до того дня, до той секунды, пока душа его жила в теле.

Теперь она жила совсем по другим законам, и, освобожденная от тела, от необходимости его кормить и одевать, мчаться на работу, от невозможности остановиться и подумать о себе, о своей жизни, о том, что он делал и как поступал, – она вдруг в несколько минут, пока длился ее полет туда, ввысь, увидела все так ясно и так страшно, и так понятны были ей все ее заблуждения и прегрешения, что чувство вины, колоссальное и страшное по своим масштабам, стало

давить на нее, и она стала ощущать в себе его груз, и странно было, что она – бестелесная и невесомая душа стала вдруг тяжелой, страшно тяжелой, и перестала подниматься ввысь, и стала опускаться вниз, неминуемо набирая скорость в своем страшном падении, и мелькнула в ней мысль, что, наверное, она сейчас попадет куда-то глубоко под землю, в ад, где и будет мучиться в этом страшном чувстве вины...

Но она не попала под землю, просто свалилась вниз, шмякнувшись на землю и рассеяв вокруг себя сотни мельчайших капелек какого-то странного конденсата, похожего на маленькие слезинки. И эти маленькие слезинки, которые и были слезами души за все содеянное, слезами от ее невыразимого чувства вины за то тяжелое и страшное, что сотворила она в своей жизни, рассыпались по листьям и траве и потерялись среди миллиардов таких же маленьких слезинок, которые люди называли росой.

И начался выматывающий и страшный ад – подниматься вверх, стремясь освободиться от чувства вины и стать опять чистой и светлой душой, – и опускаться под тяжестью непрощенных грехов, рассыпаться росой или дождем, или снегом, в зависимости от времени года. И не было числа этим слезам неприкаянных грешных душ, которые сами создали себе свой ад еще при своей жизни, творя то, что они творили.

И каждая из этих мятущихся и страдающих от тяжести содеянного душ уже поняла все свои ошибки и увидела все свои плохие поступки, и поняла, откуда это, и осознала свою вину, но бессильна была что-либо изменить. Потому что ее знание и понимание своих ошибок ничего не меняло. Только прощение тех, кому ты делал больно, могло отпустить тебя туда, ввысь, снять с тебя тяжесть твоих грехов.

И часть из них, как он, который сейчас наблюдал страдания своей дочери, – были обречены жить рядом с теми, которых мучили и которые продолжали получать последствия их мучения. Они были обречены быть рядом и видеть, и присутствовать, и испытывать еще и еще страшную боль и раскаяние, и оставаться тут, рядом. И невозможность что-либо изменить и пережить покаяние, очищение от груза грехов была самым страшным наказанием, самым страшным адом. И только ожидание чуда жило в каждой такой измученной болью и чувством вины душе, что в какой-то момент обиженный ею человек простит ее, отпустит от себя туда – ввысь, в чистоту, в любовь и покой. Только ожидание чуда. Только ожидание чуда...

А миллиарды других душ, которые уже не могли получить прощение и отпущение, потому что были неверующими и циничными, и уже некому было дать им прощение, были обречены на выматывающее существование между небом и землей. И они опять и опять были обречены подниматься ввысь и опускаться под тяжестью собственных грехов. И становиться ветром или снегом, дождем или росой. И так опять и опять, и этому не было конца. И так до скончания века и начала нового, и бесконечно, и бесконечно, и не было предела их количеству, и все больше их становилось – грешных и непрощенных. И становились они уже не ветром, а вихрями, и, становясь потоками воды, сметали все на своем пути: и жилища, и пастбища, тысячи таких же грешных и не осознающих своей греховности людей. И, становясь цунами, слизывали с лица земли тысячи суетливых, не осознающих себя людей.

И непонятно, что было лучше: вот так метаться с тяжестью своих грехов между небом и землей или как он, быть привязанным к тяжким последствиям своих грехов и день изо дня болеть душой, испытывать стыд и боль и осознавать невозможность что-либо изменить. И все-таки надеяться на чудо – вдруг когда-нибудь его простят. Вдруг его простят. Господи, пусть его простят...

Лежать было больше нельзя, нужно было будить Славку, нужно было умыться, чтобы убрать следы слез и сделать радостное лицо, потому что ребенок не должен был знать всего, что происходило сегодня утром. Просто не должен этого знать ребенок, подумала Оля и тут же себя поправила: не должно быть в жизни ребенка того, что уже, фактически было. Не дол-

жен его отец бить его мать. Не должен. И она сама от своих мыслей замотала головой, как бы возмущаясь и недоумевая одновременно: это уже есть в ее жизни. Ее, Олю Иванову, бьет муж, и сын рано или поздно это увидит.

Маленький Славка на самом деле уже видел это. Он был свидетелем первого удара, когда муж ударил ее, беременную. Ударил тоже ни за что, сгоряча, просто злым был, придя с работы, вот и подвернулась она ему под руку. Оля помнила тот первый удар, потому что страшно испугалась тогда. Испугалась тогда даже не за себя, за Славку, который был в ее животе, и, казалось Оле, весь сжался от этого удара, и живот ее стал на какое-то время напряженным и каким-то тяжелым, и она с ужасом подумала, что с ребенком что-то случится. Но все прошло, она поплакала, живот расслабился, Славка перестал в животе ощущаться напряженным сжавшимся комком, муж каялся, целовал Олины руки, лицо и говорил:

– Прости дурака, ну не удержался, просто настроение какое-то хреновое, ну прости дурака...

Она простила его тогда. Наверное, потому и простила, что была ошарашена случившимся, потому что не должно было это происходить с ней, Олей Ивановой. И так она была испугана, что у нее может быть выкидыш, что, заставила себя успокоиться, списав все на случайность, на срыв.

Он ударил ее второй раз, когда пятимесячный Славка был у нее на руках. И она не увернулась от удара, боясь, что он заденет ребенка. И Славка, полный несмышлениш, вдруг резко и сильно заорал, и кричал, и кричал у нее на руках громко и отчаянно, и, думала она, он кричит: «Папа, не бей маму...»

И муж ушел, хлопнув дверью, и она потом два дня молчала, не разговаривала с ним, потому что просто не знала, что можно ему сказать, – как он сам не понимает, что так – нельзя, что так – нельзя...

И они снова мирились. И он снова давал волю рукам. И этого не должно было быть. И ребенок этого не должен был видеть, но это было, и ребенок это когда-то увидит. Пока все свои незаслуженные и неожиданные удары она получала от мужа или ранним утром, когда он, невыспавшийся или недовольный, срывал на ней раздражение. Или поздним вечером, когда он приходил уставший и вымотанный, и иногда – нетрезвый. И Оля с ужасом думала о том, как это будет ему, Славке, если он это увидит, потому что помнила себя, каково это было видеть ей, когда отец бил ее мать.

И она отмахнулась от этих мыслей, потому что просто невозможно было об этом думать, и шторка в детской комнате вдруг почему-то закачалась, и она опять подумала – ну, точно, какой-то барабашка завелся. И стала будить сына.

Пятилетний Славка был похож на отца, что называется – не перепутаешь, чей сын. Он был его маленьким слепком, с тем же разрезом глаз и овалом лица. И формой пальцев, и губ, и всей маленькой крепкой фигурой был он похож на мужа. И вихры на его голове торчали так же. Только был он маленьким, добрым и светлым человечком.

Еще когда Оля училась в своем библиотечном техникуме, она думала о том, что ее ребенок будет воспитан не так, как воспитывали ее, Олю. Ее, собственно, никак и не воспитывали. Мать была на работе, потом – в домашних хлопотах, отстраненная и суевливая, тревожно посматривающая на часы в ожидании мужа. Отец тоже работал, часто пил, – а чем еще заняться рабочему человеку после работы? Пьянея, становился злым и противным, цеплялся к матери, и она терпеливо и тихо отвечала ему, уже зная его нрав, не давая ему разойтись. Но не удержалась, и иногда эти цепляния перерастали в агрессию, в ход шли кулаки.

Мать умерла, когда Оле было 16 лет, просто как-то истаяла за год, как отец потом говорил, – это ее рак сожрал, только не рак ее сожрал, он сам жрал ее всю жизнь, всю жизнь ее мучил и унижал. Оля подумала об отце с ненавистью, так, как думала всегда, и до его смерти, и

после. Не простила она ему его жизни, не простила, – и прощать эту скотину не собиралась. И снова показалось Оле, что штора задрожала, и цветной карандаш скатился со столика на пол, Славкина рубашка почему-то свалилась со стульчика, на котором лежала, и Оля, раздраженная всем этим и своими воспоминаниями, стала будить сына.

Славка открыл глаза и улыбнулся, и Оля тоже улыбнулась, сразу забыв обо всех своих переживаниях. Ее всегда поражала Славкина способность улыбкой встречать каждый день. Он как бы светился изнутри, и в глазах его всегда было удивление – ух ты, еще один день, каким он будет!

Оля, еще когда носила Славку в животе, много читала о том, как правильно воспитывать ребенка. И одна из книг задела ее сердце. Книга о том, как любить своего ребенка. Потому что когда ребенок растет в любви, он сам становится любящим и светлым. Он только тогда и может уважать родителей, и любить людей, и весь мир, когда сам наполнен любовью. И Оля наполняла Славку. Наполняла щедро, чего не понимал муж, мрачно говоря:

– Чего ты с ним сюсюкаешься – «Мой любимый мальчик... Мой любимый сыночек...» Он мужиком должен расти. Мужиком, – говорил он по складам, как бы выражая этим какой-то только ему понятный скрытый смысл. А Оле после его слов вспомнилось, как муж не раз грубо говорил своей матери, жаловавшейся то на давление, то на боль в пояснице:

– Мать, отвали, не ной, чего ты все ноешь...

И всегда Олю коробило от этой его грубости. И думала она, наверное, быть таким вот грубым и было в понимании мужа – быть мужиком...

И сейчас, собирая в детсад Славку, который брыкался в ее руках, как маленький жеребенок, не попадая ногами в штанины, она вспомнила, как, впервые увидела эту грубость, какое-то неуважение мужа к матери, попав в их семью, когда еще только встречалась со своим будущим мужем. Но, она, влюбленная в своего будущего мужа, подумала тогда:

– Это ничего, я его перевоспитаю. Это он с ней такой, со мной он будет другим. Он же любит меня...

И он ударил ее, когда она была беременная. И сотни раз она слышала от него все то же – «эй, ты», или «отвали». И сейчас она уже ясно понимала: если мужчина не уважает свою мать, он не может уважать и других женщин...

...Славка прыгал рядом, потому что ходить степенно не мог совсем. В нем жила какая-то неумная светлая энергия, он торопился жить, и все было ему интересно, и все нужно было потрогать, и везде успеть. И Оля не мешала ему узнавать мир. Наученная хорошими книжками, она понимала – ребенок должен расти свободным и любознательным. Он должен расти добрым и любящим, и это возможно, только если ему дают таким быть. Если его самого любят, если к нему добры. Муж, к счастью, редко вмешивался в их отношения с сыном. Не до того ему было. После смены часто шел к друзьям – то машину кому-то помочь чинить, то пивка попить. Он считал воспитание женским делом, только иногда, наблюдая, как он выражался, «телячьи нежности», – говорил грубовато:

– Нечего его баловать. Хватит его облизывать...

Но Оля и баловала, и «облизывала», потому что ее саму в жизни никто не баловал и не выражал ей особой любви, и хотелось ей, чтобы Славка узнал какую-то другую жизнь и сам был другим, не таким безропотным и не умеющим за себя постоять, как Оля.

И когда она шла из сада, оставив там сына и понаблюдав издали за тем, как радостно он стал гоняться по площадке за своим детсадовским другом Сережкой Смеляковым, – Оля думала о том, каким она хочет вырастить Славку. Сильным. Уверенным. И уважающим женщину. Да, обязательно уважающим женщину. Чтобы никогда он не смог поднять на нее руку, как делал это его отец...

Он ударил ее вечером того же дня. Ударил несильно, но неожиданно. Ударил на кухне, в присутствии Славки, который сидел за столом и доедал ужин, нехотя ковыряясь в котлете.

Он ударил ее резко и неожиданно, огрел ее распростертой ладонью по лицу, и удар пришелся по щеке и по носу, и удар был несильный, он бил ее и сильнее, но кровь из носа почему-то потекла, и она испугалась, испугалась за Славку, за то, что это все-таки случилось, – он ударил ее при ребенке, и, не зная, что делать, она выбежала из кухни, вбежала в комнату, прижала к носу кухонное полотенце, которое держала в руках, когда он ударил ее.

И он пришел к ней в комнату. И, посмотрев в его лицо, увидев его злые и какие-то безжизненные глаза, Оля поняла, что это не конец. Что сейчас он ударит ее еще.

И успела сказать только:

– Не надо при Славке... Не надо при Славке...

И увидела, как он размахнулся, как-то лениво, как в замедленной съемке, отвел руку, чтобы вмазать ей по лицу, и вдруг Славкин голос, совсем непохожий на Славкин голос – звонкий и радостный, каким он говорил всегда, – сказал глухо и яростно:

– Не бей мою маму!

И они – она и муж – опустили глаза, до этого прикованные к лицам друг друга, и увидели Славку, стоящего перед Олей со сжатыми кулачками. И был он так мал, так мал – и так велик в своей детской ярости и непримиримости, что лицо его как-то не по-детски заострилось, став жестким и взрослым. И он опять сказал, как-то сильно и не по-детски требовательно:

– Не бей мою маму!..

И – кулачки поднял.

И – было это страшно.

Страшно, что пятилетний мальчик стоит между двумя взрослыми людьми и защищает одного взрослого человека от другого взрослого человека. Защищает взрослую женщину от взрослого мужчины.

И что-то дрогнуло в лице мужа, он как-то сразу обмяк, выдохнул из себя воздух и вышел из комнаты.

Входная дверь стукнула.

Послышался звук его шагов на лестничной клетке.

И как только послышался звук его шагов на лестничной клетке, маленький этот защитник вдруг заревел, заревел звонко и отчаянно, широко раскрывая рот, вывернув в крике губы, как плакал, когда был совсем маленьким, когда болел или чего-то отчаянно хотел, чего они не понимали.

Он заревел так по-детски, так горестно, и прижал свои кулачки, которые так и не успел разжать, к глазам, и Оля, просто рухнула перед ним на колени и обняла его, обхватила его всего, прижав к себе своего маленького, и смелого, и такого испуганного своей смелостью защитника.

Он плакал и плакал, уткнувшись в нее, и она подняла его к себе на колени, подхватив руками его под ножки, как делала это в детстве, когда носила его на руках.

И он плакал и плакал, и она плакала с ним, и говорила:

– Это ничего, сынок... Это не страшно... Все будет хорошо... Папа больше не будет... Папа больше не будет...

Он плакал уже тише и не так отчаянно. И она все шептала ему, прижав его к себе, прикрыв своим телом:

– Я люблю тебя... Я тебя люблю, мой смелый мальчик... Ты мой любимый сыночек ... Ты мой самый любимый, самый дорогой мальчик...

Она шептала ему эти слова, и целовала его заплаканное личико, опять ставшее совсем детским и растерянным и горестным в своем огромном детском горе. Она плакала и шептала ему слова любви, и совсем не видела, как дрожали тюльпаны, и как трепетала штора, как будто ветер ходил по комнате, и он действительно не то что ходил – метался в своей боли, и горе, и

отчаянии, от того, что его ребенок был в такой горе, что его внук был в такой горе, и слезы их были его слезами, и их боль – его тысячекратно увеличенной болью...

Сын затих у нее на руках, и она, покачивая его, так и сидела на полу, и похожа была сейчас на мадонну, прекрасную заплаканную мадонну с заплаканным ребенком на руках.

Он не был младенцем, но почему-то именно сейчас, после его такого неожиданного и смелого поступка, было видно, как он еще мал, как по-детски округлы его щечки, и ножки совсем еще малышковые, еще не ставшие угловатыми, мальчиковыми – и пяточки розовые, округлые. Он примчался с кухни, не успев надеть тапочки, которые всегда снимал, влезая на высокий стул, чтобы удобно было сидеть, подогнув под себя ножки.

И она сидела на полу, слегка покачивая его в своих объятиях, и сама стала успокаиваться, и мысли ее потекли какие-то спокойные и светлые. И, подумала она, наверное, именно потому, что он сделал то, что не делала она, – все и пойдет теперь по-другому. Потому что он, ее мальчик, ее малыш, своим смелым поступком разбил, разрубил какой-то страшный сценарий, который работал в ее жизни.

И она подумала вдруг, что, наверное, это и называется кармой, когда из поколения в поколение люди совершают одни и те же поступки, они и те же, одни и те же. И каждый обречен повторять сценарий своих родителей, потому что не делает ничего нового. Отец бьет свою мать в присутствии ребенка, и если ребенок соглашается с этим, не противостоит этому, то он сам потом будет бить свою жену, и если его ребенок не остановит это, то он сам потом будет бить свою жену, или будет бит, если этот ребенок – девочка.

И так будет продолжаться и продолжаться, потому что, если ты не делаешь ничего нового, ничего другого – что нового, другого может произойти в твоей жизни?

И, думала она, ее мальчик, ее любимый мальчик разорвал этот круг. Разорвал этот сценарий. И муж ее больше никогда не ударит. Никогда. Потому что она больше никогда ему этого не позволит. Смелость ее малыша дала ей сейчас такие силы, что она уже ничего не боялась.

Не боялась противостоять мужу, не боялась уйти от мужа, не боялась неизвестности. Самое страшное, когда тебя унижают на глазах твоего ребенка, и этого больше не произойдет. Она больше не даст этому произойти.

И она с любовью посмотрела на своего мальчугана. Как он мог это сделать? Почему он это сделал? Откуда в нем эти силы – не испугаться отца, его злых глаз, которых она сама так боялась?

И поняла она вдруг, как-то легко и естественно, что все это сделала его любовь к ней. Любовь, которой он был наполнен. Которой она сама его наполнила, любя его.

И она подумала вдруг: «Господи, как же все просто! Если ты наполняешь любовью своего ребенка – он может щедро делиться этой любовью с тобой и быть тебе и другом, и защитником, и помощником...»

И впервые вдруг подумала она о своем отце, подумала как-то легко, без ненависти. Она впервые за многие годы подумала о нем с жалостью. Она вспомнила его закрытость и отчужденность, его запои и его злость. И увидела в нем вдруг слабого, маленького, недолюбленного, недоласканного мальчика. Она знала, что именно так и было в их семье. Отец его был неласковым и закрытым. И мать – тихой и забитой. Где уж тут быть любви! И выросший без любви, не наученный любить, он мог делать только то, что делали до него поколения его предков, – выливать свою злость. Вымещать свое раздражение. Потому что если ты не наполнен любовью – ты наполнен нелюбовью. И делишься ты тем, чем наполнен.

Она качала и качала своего мальчика и думала о своем отце. Вспоминала его, приходящего домой трезвым или нетрезвым, но холодным и закрытым. И жалко ей стало его так, так щемяще жалко стало ей того ребенка в нем, которого никто толком не любил, что она опять заплакала, заплакала тихо, чтобы не потревожить своего малыша.

И она плакала в какой-то вселенской жалости к своему папке, бестолковому, никем не любимому папке, прожившему такую бестолковую и неправильную жизнь. И она плакала и плакала и говорила про себя:

– Папка, папка, бедный мой папка...

И прядка волос упала ей на щеку, и она поправила ее, но она снова упала, и, как будто ветерок прошел по ее лицу, и она все плакала и плакала от жалости и любви к своему папке.

...Она была похожа на прекрасную заплаканную мадонну с заплаканным малышом на руках. И такую любовь он чувствовал сейчас к ней, своей девочке, которой никогда толком не выражал любовь, не ласкал ее, не обнимал, просто не знал, как это делать. Которой не дал он ни поддержки, ни внимания, ни любви. Только боль и обиды причинял он ей, и ее матери, и не было ему за это прощения.

И сначала, пока они плакали, он метался по комнате, метался в своей боли и невозможности что-то исправить и как-то им помочь. Потом, когда малыш затих, а дочь сидела и покачивала его на руках и так была похожа на мадонну, он обнял их, просто обволок их собой, своей бестелесной сущностью. И сделал то, что так редко делал, когда его дочь была маленькой девочкой и так нуждалась в его ласке. Он гладил ее по голове, и прядка ее волос выпадала, и она поправляла эту прядку, и он снова гладил ее, и гладил по вихрастой головке своего внука, смелого мальчика, который защитил свою маму, не дал сделать своему отцу то, что он сам делал за свою жизнь сотни раз.

Он обволок их своей бестелесной, грешной и уставшей от раскаяния сущностью и просто любил их сейчас, и сам не замечал, как становился светлее и чище в этой любви.

И когда девочка его стала плакать о нем, и слезы ее были такими светлыми, легкими, и столько жалости было в ее сердце, столько любви к нему, непутевому, что ему показалось – его сердце просто не выдержит больше этих мучений, и терзаний, и раскаяния. И он вспомнил, что сердца у него давно уже нет, как нет и тела, и он – всего-навсего грешная и мятущаяся душа, не достойная прощения...

Она подняла сына на руки и уложила к себе в кровать, и легла с ним, не раздеваясь, просто обняла его всего, прикрыв своим телом, чтобы был он в безопасности, чтобы маленький ее защитник почувствовал себя защищенным. И, убаюканный ее теплом, дыханием, ее словами: «Я тебя люблю... Я тебя люблю, мой дорогой... Все будет хорошо...» – он уснул.

А она, лежа рядом с ним с открытыми глазами, снова подумала об отце. Подумала о его грешной, мятущейся душе, потому что какая же еще душа может быть у человека, который всю жизнь прожил в нелюбви и мог делиться только нелюбовью? И снова так жалко стало ей папку своего непутевого, несчастного, запутавшегося и ничего не понявшего в своей жизни, и натворившего столько ошибок, что она снова заплакала. И все плакала и плакала, и молилась про себя, впервые за многие годы произнося слова:

– Господи, прости моего папку! Господи, прости моего папку! Он сам не ведал, что творил! Он сам не ведал, что творил...

И столько любви и прощения было в ее словах, что он, бестелесный, обволакивающий их собой, как прозрачным облачком, почувствовал легкость, такую вселенскую легкость, и такую необыкновенную чистоту, как если бы его просветили мощным светом, испарив из него все тяжелое, плохое, нечистое...

И он вдруг понял: стоит ему захотеть и раскрыть свои бестелесные объятия – как он понесется ввысь, туда, к свободе и гармонии, туда, в небеса, в рай, о котором не смел и мечтать.

Но он не мог, не хотел разомкнуть свои объятия, как бы пытаясь за несколько минут до своего полета ввысь напиться, наполниться любовью, которой никогда не чувствовал и которой никогда не был.

Он обволакивал их, и был он тих и спокоен, и дочь его заснула, заснула с мокрыми ресницами, прекрасная, несчастная и по-новому сильная его девочка. Она спала, и дыхание ее стало ровным. И было что-то детское сейчас в овале ее лица, полуоткрытых губах, в раскрытой ладошке. И он гладил эту ладошку, и весь он, вся душа плакала от любви к этой ладошке, к этому лицу, к этой девочке. И он не мог оторваться от нее. И не мог напиться этой любовью. И время шло. И уже за окном забрезжил рассвет. А он все держал их в своих объятиях...

Она спала. Спала крепко и спокойно, как в далеком раннем детстве, когда была безмятежной девочкой, не знающей еще никаких огорчений, чувствующей себя защищенной и любимой, – какой не чувствовала себя потом никогда.

И когда первые лучи солнца скользнули по стенам, коснулись кровати, ее волос, ей приснился сон – как бежит она по солнечному летнему лугу навстречу папке, и он – молодой и добрый бежит к ней, раскрыв руки, и подхватывает ее туда, ввысь, к солнцу, и кажется ей, что она взлетит сейчас в небеса. И столько свободы и защиты в его руках, и так крепко его объятие, и – нет никого роднее, и сильнее, и красивее папки...

И он разомкнул свои бестелесные объятия и, ощущая себя покоем и любовью, светом и самой чистотой, просто вышел за пределы комнаты, потому что не было никаких преград перед этим светом. И понесся ввысь. Туда, в небеса, освещенные поднимающимся солнцем.

И уже оттуда, с высоты, он окинул взглядом необъятные просторы, и поразился их масштабам, и поразился тому, как везде, куда достает его взгляд, на траве и листьях в лучах восходящего солнца сверкают капли росы. И нет им числа.

И поразился он этим масштабам.

И полетел дальше, ввысь.

И попрощался с росой, которой он, прощенный, уже никогда не будет...

Награда для души

Это было потрясающее, необыкновенное зрелище.

Не было таких слов в человеческом языке, чтобы описать величие и законченность, и гармонию, и целостность всех сфер, которые окружали планету, были ее ореолом, ее аурой – мощной Вселенской аурой, сотканной из света, которая и была на самом деле светом.

Тремя сферами света.

Это было потрясающее, необыкновенное зрелище.

Если бы только кто-то из людей смог увидеть его.

Но им не дано было видеть это. Ни их собственному зрению, ни их развитой чувствительной технике не дано было видеть это сияние, эти сферы, которые были наполнены светом разной яркости, которые и были то, что сами люди называли – Бог, любовь...

Эти смешные умные люди. У них всему было название, но как мало они сами понимали в тех названиях, которые придумывали...

Это действительно было потрясающее своей величием и нежностью зрелище. Прекрасная голубая планета, красивая, необычная в своем рисунке рек и морей, облаков и бескрайних полей. Красивая живая планета, узнаваемая для каждого человека, который видел изображения разных планет, – окруженная светящимися сферами.

Самая нижняя сфера, которая опоясывала всю планету, как огромный светящийся шар, – сфера ожидания, в которой томилась сейчас молодая душа. Она ждала. Вот-вот придет ее час... Еще немного, еще несколько минут – и она волеется в новое тело. В маленький зародыш, который ждет ее.

Никто из них не знал, да и не пытался узнать, как, по какому высшему сигналу происходит их вливание в новые тела. Еще несколько часов назад она была в сфере каникул. Более высокой сфере, которая опоясывала сверху шаром и всю планету, и всю сферу ожидания.

Сорок дней каникул получала каждая душа после пребывания в теле. Все это время души просто отдыхали, просто были тем, кем были, – душами разной степени свечения и чистоты.

Это была просто передышка перед следующим этапом. И опять никто и никогда не знал – почему это так? Кто придумал эти сорок дней, когда душа уже покидает тело, но еще летает свободной, не вселяясь в другое тело. Люди думали, что это они придумали ритуал, – отмечать сорок дней траура по телу. Смешные люди, с их умными головами, которые придумывали только разные глупости, но с гордостью считали себя первооткрывателями!

Души никогда не были умными.

Они были истинными.

Истинно знающими и не задающими вопросов. Они просто были и выполняли свою высокую миссию – стать ярче, чище, светлее.

Стать просветленными, как говорили люди.

Стать светом.

Стать светом и подняться вверх, на высший уровень. В сферу гармонии и покоя...

Сверху они были похожи на светящиеся точки, на огоньки. На свет фонариков во тьме. Души не видели тел, когда смотрели сверху, они видели себя. Как на экранах мониторов люди видят какие-то объекты, на которых стоят маячки.

Это было захватывающее зрелище – миллиарды огоньков, ярких и тусклых, едва брезжащих и мигающих, сильных...

Совсем немного среди них было таких, которых было видно издали, – которые были огнем, были светом, потоком, ярким пятном, вибрирующим, играющим всей красотой своего сияния.

Их было немного. И когда тела их становились ненужными, когда этот свет достигал своей изумительной чистоты и прозрачности, душа – этот свет, эта чистота и прозрачность, – высвобождалась из тела и со всей своей скоростью света мчалась ввысь, туда, где ее ждал высший покой и высшее счастье слияния с таким же чистым и прозрачным светом, как она.

Так было всегда. Всегда была эта игра света. Зародиться маленьким тусклым огоньком – и набирать яркости, разрастаться, становиться снопом света, самым сиянием – в этом был смысл всего.

И сейчас одна из них – молодая душа – ждала своего часа. Она была молодой не потому, что ей было мало лет. Нет, ее возраст исчисляли тысячелетия, как и возраст всех ее подруг, частично разбросанных по пространству сферы ожидания. Они были ровесниками, но среди них были молодые души, как она, еще не засиявшие, еще не набравшие яркости, не просветленные, как говорят люди, в чьих телах и обитали души.

Были и более яркие, более готовые к просветлению, о котором мечтала каждая душа, что и было смыслом ее жизни, – засиять, стать чистой, оторваться от тела и соединиться со сферой гармонии и покоя.

И сейчас, когда пришел ее час, молодая душа ждала сигнала. Она ждала того притяжения, которое повлечет ее к новому телу, именно этому телу, среди тысяч зарожденных, доживающих до своих сорока дней жизни, до момента, когда в них готова войти душа, их основа жизненной энергии, их внутренний свет, без которой они оставались только телами, животными.

Молодая душа ждала с нетерпением. Она уже сотни раз переживала этот потрясающий момент влечения, вовлечения в новое тело. Момент, когда она со скоростью света, которым и являлась, мчалась к конкретному телу, скрытому в глубине материнского тела. Это был волнующий процесс вливания в тело, выбора его, его ощущения среди всех других. Потому что это было ЕЕ тело, предназначенное лично для нее. И она было ЕГО душой. Только его и ничьей больше. Потому что телу нужна была именно эта душа. А душе нужно было именно это тело, потому что только с этим телом она могла засиять и стать настоящим светом.

Как волновались души, когда происходил момент их вливания! Как надеялась каждая из них, что ей достанется тело, которое максимально поможет ей засветить! С какой любовью они видели тела – самые подходящие и ценимые среди душ – тела, в которых был изъян или уже жила болезнь. Какое желание было у каждой души – вселиться именно в такое тело. В тело, которое поможет душе пройти самые сильные уроки, получить самые сильные потрясения, которые и помогут осознать, увидеть, почувствовать свои ошибки, вырасти и стать чище и светлее.

Каждая душа только мечтать могла о таком теле...

О теле с наградой.

О теле с изъяном. С болезнью. Или об умном теле. Потому что ум – это был тоже изъян.

Умные люди, которые жили только своей головой и совсем не слушали свою душу, сами создавали себе проблемы, так закручивая свою жизнь и отношения, что душе было где развернуться. Уроки шли один за другим. Только успевай понимать, и осознавать, и очищаться.

Умные все знали и все понимали, только это не делало их ни счастливыми, ни довольными. Они даже название такое придумали – «гордыня». Но сами не понимали смысла этого слова.

А гордыня – это и есть, когда ты слушаешь свою умную голову, а не свою чистую душу. И поступаешь не по душе, а «по голове». И думаешь, что голова лучше знает.

Но что она могла знать по сравнению с истинностью высшего знания души, которая была частью глобальной вселенской души, глобального вселенского знания, которое сами люди называли Богом?

И души любили вселяться в тела, в которых было много ума. Потому что умные люди создавали себе болезни, а именно так и было чаще всего, и душа имела все шансы стать про-

светленной. Потому что рано или поздно наступал волшебный момент, когда умный человек, запутавшись в своем уме, натворив дел, и бед, и болезней, сдавался и говорил: «Все, я больше ничего не понимаю. Я ничего не знаю. Господи, помоги!» И это был такой отказ от ума и такой вопль к душе, что душа могла раскрыться полностью.

И начинался волшебный процесс исцеления человека. Процесс его чистки, когда он вдруг осознавал свои ошибки, видел свою жизнь со стороны, каялся в содеянном, становился чистым.

Иногда люди выздоравливали от болезни, и эта чистка, – или катарсис, такое умное слово они сами придумали, – происходила полностью, сильно, ярко, и их души становились снопами света. И люди возрождались к жизни уже другими – спокойными, собранными, мудрыми, чистыми, цельными. Без погони за деньгами, суеты, зависти, злости. И они жили, соединенные своими душами с высшей сферой гармонии и покоя.

Иногда тела умирали, потому что душа, набравшись своего опыта, должна была дать себе передышку. Потому что душа понимала: сколько ни оставайся в этом теле, ничего нового не произойдет.

И начинался этап каникул для души. Сорок дней тишины и покоя. А потом – волнующее ожидание подходящего тела. И ожидание тела, которое поможет душе засиять полноценным светом...

И сейчас молодая душа ждала. Ждала и молилась:

– Пусть это будет тело увечного ребенка – и тогда она получит такие уроки принятия себя и прощения других, которые за одну эту жизнь позволят ей стать светом...

– Или пусть это будет обычное тело обычного человека, суетливо проживающего свою жизнь, только пусть он побольше напутает, чтобы сильные уроки свалились на него, чтобы душа его очистилась...

– Пусть это будет тело с НАГРАДОЙ...

Они называли это «наградой» – то, что люди называли болезнью, чего они боялись, старались избежать и залечить.

Но ведь награда для того и давалась человеку, – чтобы остановиться и задуматься.

И переосмыслить свою жизнь.

И испытать боль и стыд.

И признаться себе в ошибках, заблуждениях, гордыне.

И покаяться.

И очиститься.

И стать светлым. Стать – светом...

...Она смотрела на свою мать, лежащую на кровати, на ее исхудавшее, какое-то обескровленное лицо. На трубочку, которая тянулась от ее руки к капельнице, но не вливала в нее жизнь. Все было уже решено. Все было определено. Не оставалось никаких надежд на исцеление. Диагноз поставлен. Операция сделана. Самое худшее подтвердилось. И она знала это. И ее это даже уже не пугало. Она просто устала переживать. Устала жить в напряжении, в ожидании. Она просто устала.

Сейчас, когда она сидела у постели своей умирающей матери, держа ее за руку, она могла думать только об одном, – как она устала...

Эта болезнь, обнаруженная так неожиданно, и все последующее после этого: хождение по кабинетам в онкоцентре, анализы, снимки, разговоры с врачами, которые как-то опускали глаза при разговоре с ними, и надежда, которая вначале еще была жива, и разочарование, и отчаяние, и звонки родственников, взволнованных и потрясенных, которые хотели знать подробности, и надо было всем все рассказывать сначала, – как и что им говорили, какие прогнозы. А какие могут быть прогнозы при таком заболевании...

Сейчас, когда все уже было ясно и понятно, – она уже не могла так это переживать, она вообще как-то застыла, замерла в своих чувствах, потому что чувствовать было слишком страшно и больно.

Она держала руку матери, и рука ее устала, и ей очень хотелось откинуться назад, сесть удобнее, потому что плечи ее затекли и все тело устало от неудобной позы, от напряжения. Она просто устала...

И в какой-то момент она осторожно высвободила руку, и откинулась назад, чтобы дать себе передышку, дать возможность набраться сил для того, что ждало ее впереди...

...Она приоткрыла глаза и лежала, прислушиваясь к себе, к тому, что в ней происходило. Она как бы слушала, подкрадывается ли к ней боль, или передышка будет долгой. И она знала, знала совершенно точно, что передышки эти между болью и следующей болью будут все меньше. И боль будет все сильнее. Но эта пауза между болью – какой благословенной она была!..

Она почувствовала, когда дочь осторожно освободила свою руку, как бы боясь даже таким движением потревожить ее, причинить ей боль. Она посмотрела на дочь, как та, закрыв глаза, откинувшись на неудобный стул, замерла в каком-то временном ощущении покоя.

– Как она устала, – подумала она. – Досталось ей за эти дни...

Для нее самой эта круговерть, все, что происходило с ней после того, как она узнала о своей болезни, – казалось каким-то нереальным, как будто происходило не с ней. Как страшный сон, в котором ты спишь и понимаешь что спишь, и кажется, что вот сейчас ты проснешься, – и весь этот кошмар кончится. Но только ничего не кончалось... Вернее, все действительно кончалось. И это было так страшно, что просто было недоступно осознанию и пониманию...

Боль начала подкатывать. Она уже узнавала эти тихие, осторожные, вкрадчивые ее шаги. Это сначала она крадется, как нежная волна, как рябь, чтобы потом обрушиться на нее ударом такой силы, что, казалось, просто нельзя это выдержать, но она опять выдерживала. Выдерживала, понимая, что скоро сил ее на эту боль просто не останется.

И она напрягла свое тело в ожидании этого удара. Ей казалось, так легче принимать этот удар, так боль ломается об нее, распадается на мелкие кусочки...

...Она почувствовала, просто почувствовала, как напряглась мать. Она угадала это напряжение в шорохе постельного белья, в дыхании матери, которое как бы затаилось, готовилось к отпору боли. За эти дни, проведенные у ее постели, она научилась угадывать приход боли почти интуитивно. Она знала, как тяжело и страдальчески мать переживает эту волну боли. Знала, как нужна ей поддержка в эти минуты... Но она так устала... Так устала... Сейчас она понимала – нужно открыть глаза, наклониться к матери, протянуть ей руку, взять ее за руку, чтобы она не осталась наедине с этой болью. Но она так устала...

И она не открыла глаз. И не наклонилась к матери. И не взяла ее за руку. Она продолжала сидеть, откинувшись на стуле, делая вид, что не замечает надвигающейся боли.

...Когда эта волна опять обрушилась на нее, когда она была одна с этой болью и со всей своей болезнью и обреченностью, – ей так нужна была рука ее дочери. Так нужна ее рука. И она почти уже закричала:

– Дай мне руку! Дай руку! – Но сама себя остановила.

Остановила из жалости к дочери. Из жалости к ее усталости. И вместе с жалостью почувствовала неприязнь к дочери: разве она не понимает – как нужна ее рука?! Разве она не понимает! Разве она не понимает!..

И она как-то иступленно повторяла, кричала это про себя, пока боль не отступила, не ушла, и даже когда боль ушла, она с какой-то внутренней, глубокой обидой смотрела на дочь, на то, как та сидит с закрытыми глазами на этом неудобном стуле, находясь где-то там с самой собой, а не с ней, которой она сейчас так нужна. Так нужна она. Так нужна ее рука...

«За что мне это, Господи?!» – в который раз за эти дни подумала она отчаянно.

Она спрашивала саму себя, и Бога сотни и сотни раз: «За что мне это?!» – и не находила ответа.

И сейчас, когда боль ушла и она была такой одинокой на своей кровати, с которой она уже не поднимется, такой одинокой, такой брошенной, без руки, которая ей была так нужна, она опять и опять говорила себе: «За что мне это? За что мне это? За что мне это?..»

И почему-то именно сейчас она вдруг ясно вспомнила свою малышку дочь, которая растянулась на асфальте, когда они шли домой из детского сада, и ревела, громко и отчаянно, как могут плакать только дети, и говорила:

– Мама, дай учку, дай учку...

Она еще не говорила тогда букву «р», просто пропускала ее в речи, и так забавны были ее слова «хоошо», «каамелька», «мооженое».

И это ее «дай учку» звучало бы забавно, если бы она не рассердила ее тем, что шла, не смотря под ноги, а она предупреждала ее:

– Упадешь! Упадешь! Смотри под ноги...

И она не дала ей своей руки. Не дала. И стойко вынесла этот отчаянный рев, и смотрела, как дочь сама поднялась, по-детски неуклюже стала на ножки и все плакала, плакала:

– Дай учку! Дай учку!

Но она пошла вперед. Пошла, всем своим видом показывая, что не даст ей руки, чтобы та поняла, – надо смотреть под ноги и слушать маму. Она просто шла, делая вид, что не замечает ни этого рева, ни слез, размазанных по щекам, ни отчаянья и боли в глазах дочери оттого, что мама бросила ее, не дала ей «учку»...

Эта картинка из прошлого была такой яркой и сильной, что она даже приподнялась на кровати, приподнялась, потрясенная. И смотрела на дочь, в каком-то немом ужасе осознавая – за что это ей!..

И это было так страшно, и в этом была такая правда, что все это просто не укладывалось в ее голове. Не укладывалась эта закономерность, такая простая и страшная закономерность: она не протянула руку своему ребенку, когда ей так нужна была ее рука. И она получила ответ: ее дочь не протянула ей руку, когда ей так нужна была ее рука.

И масштаб этой простой закономерности был очевиден. И вся ее болезнь была так понятна – и за что ей это, и почему сейчас она лежит одинокая...

И она откинулась на подушку, потрясенная понятием. И даже новый приступ боли она почувствовала как бы со стороны, как будто боль просто окатила ее и ушла. Ее душевная боль сейчас была сильнее.

И чувство вины и раскаяние, и понимание, каким одиноким был ее ребенок тогда, когда растянулся на асфальте и не получил такой нужной поддержки, и «дай учку» звучало в ней сейчас так по-другому, что она заплакала от жалости. От жалости к той малышке, которая в своем одиночестве просила о помощи. От жалости к самой себе, которая тогда ничего не почувствовала, не поняла.

И она лежала и плакала. Плакала беззвучно, боясь побеспокоить своего ребенка сейчас, когда ей так нужна была передышка от усталости. Лежала и плакала, плакала, плакала.

И в какой-то момент она вдруг почувствовала, увидела весь масштаб этой великой закономерности – как все содеянное тобой приходит к тебе, возвращается к тебе, чтобы ты пережил это и почувствовал, как это чувствовали другие, которых ты обидел или не понял, или оставил в одиночестве.

И ее потряс этот масштаб. Масштаб уроков, которые проходит каждый человек. Уроков, которые он обязательно пройдет, независимо от того – осознает ли он то, что творит, или не осознает.

И ей так жаль стало в эту минуту всех. Каждого человека. И все человечество, которое живет такой недоброй, бесчувственной жизнью и тем самым уже определяет свои уроки. Свою будущую боль. Свое одиночество.

И она опять посмотрела на свою девочку. И испытала такую любовь к ней – уставшей взрослой женщине. И к тому маленькому ребенку, которым она когда-то была.

И она вдруг почувствовала такую жалость и любовь к самой себе, лежащей на этой кровати в своем одиночестве, созданной самой собой, и к той молодой, правильной бесчувственной маме, которая сама не знала, что творит. И к каждому человеку, обреченному на свои переживания и свое одиночество, которое он творит собственными поступками.

И это чувство увеличивалось, расширялось в ней. И она чувствовала любовь ко всем. Ко всему миру. И к рассвету за окном. И к этой больничной палате, в которой она поняла такое важное для себя.

И это удивительное ощущение разгоралось в ней. Как будто бы волна тепла, света и любви поднималась из нее.

И было ощущение, что в том тепле и свете, которыми она себя ощущала, сгорала ее болезнь, расплавлялась боль.

И она чувствовала себя чистой, очищающейся и такой светлой.

И свет и любовь ко всему миру заполнял ее.

И наполнил ее.

И вырвался наружу...

А сверху, с верхней точки сферы гармонии и покоя, было видно, как ярко и чисто засветил огонек в палате онкологического центра. Как разгорался и набирал силу свет... И как поток этого света вырвался наружу и понесся ввысь, чтобы соединиться с высшим светом, который есть любовь.

И он либо соединится с ним, либо ярким снопом отправится в зону каникул. Туда, где радостные и свободные души просто сияют своим светом и ждут, когда закончатся их сорокадневные каникулы.

И они спустятся в зону ожидания.

И каждая из них будет с волнением ждать.

И каждая будет надеяться.

Надеяться на то, что ей достанется тело с наградой.

Тело с НАГРАДОЙ...

Жизнь по Плану

Она была взбалмошной и капризной, и нравилось ей иногда быть такой вот – как ребенок, капризно надувать губы, и вредничать, обижаться на него, даже плакать, чтобы он почувствовал вину, даже если и не был виноват.

Она была жадной и знала, что жадничает иногда, – в еде, наедаясь больше, чем нужно, в деньгах, – как в ступоре, стоя перед прилавком и мучительно размышляя, купить или нет – может, дешевле найдется.

Она любила готовить и тут почему-то не экономила – жарила, и парила, и варила жирные борщи, и готовила много мяса – тушеного, жареного и вареного. И вареная колбаса всегда была у них в холодильнике, и было это удобно, когда мужик в доме – всегда есть, чем рот ему заткнуть, когда он начинает свое: «А что, еще не готово?.. А когда есть?..»

Она была молодой, но уже солидной, все знающей и обо всем рассуждающей, осуждающей соседей или сотрудниц, живущих не так, как она, по-другому, более свободно, что ли.

Она была правильной, вежливой и воспитанной, хотя в сердцах могла назвать соседку, с которой только что вежливо раскланялась, старой мымрой, или подумать: «Ну и задницу отравила...»

Она была в принципе нормальной женой. Такой, какой должна быть нормальная жена, – заботливой настолько, чтобы мужик был сыт, чтобы соседи не говорили, что выглядит неухоженным.

Она была верной женой: незачем было ей ему изменять, ей и его было много (кобелиная, все же, порода эти мужики, – почти каждую ночь дай ему, все ему мало!) Поэтому секс был для нее, как для типичной жены, – исполнением супружеских обязанностей: немного полежишь, о своем подумаешь, глядя в потолок, – тут и конец, можно спать.

Она была – она. Такая, какая она есть.

...Он был другим. Он был мужчиной, потому более закрытым, более упрямым, более молчаливым. Всякие телячьи нежности были не для него, поэтому когда она надувала губы и капризничала, он выходил из себя, и если сначала, в первые месяцы их брака, еще и делал вид, что переживает и раскаивается (в чем только он должен был раскаяться он так никогда и не понимал!), то потом, в ответ на ее недовольно сжатые губы и женскую «сучность», которая лезла иногда из нее, – просто пожимал плечами и отходил, как бы говоря: «Хочешь вредничать, – вредничай, меня это не колышет...» Только курил чаще, пряча за этим свое раздражение.

Он любил есть, и тут они действительно подходили друг другу. И за два года их брака он округлился, наел животик, пока еще не очень видный под рубашкой, но тяжесть своего тела он уже чувствовал, особенно если учесть, что был он до этого худым, поджарым, из армии вернулся – одни мышцы, да как-то незаметно эта женатая жизнь сделала его тяжелым и ленивым.

Он был ленивым, не потому что действительно им был. Так думала она, которой постоянно что-то было нужно, а он не бежал, как собачка, по первому ее требованию, не лез сразу вешать новые шторы, которые она купила на какой-то распродаже, не вскакивал, чтобы сразу пойти в магазин, когда ей не хватало томатной пасты, чтобы заправить борщ, и еще много не делал того, чего она хотела, чтобы он сделал, и она называла его ленивым, и он согласился, и даже привык таким себя считать, это было удобно – ленивый он, и какие тут разговоры – сама делай!

Он был нормальным мужем, в принципе, таким мужем, каким и должен быть нормальный муж – зарплату домой приносил, оставив себе небольшую заначку. С друзьями встречался нечасто, пиво можно было пить и дома – она ему не мешала, сама любила выпить бутылку-

другую. Домашние обязанности (а какие они у мужика, живущего в квартире, не имеющего своего хозяйства: шуруп ввернуть, полку повесить, за картошкой сходить), – выполнял, хоть и через свою лень. И супружеские обязанности выполнял. Может и был он не ахти каким любовником – опыта у него было маловато, (она была второй его женщиной, а первая была такой же – зажатой, неопытной, поэтому чему научился он в пору того его романа да что освоил за два года супружества, тем и жил), – но ей этого хватало. А чего мужику еще надо: только чтобы жена была им довольна, чтобы не «сучила» от неудовлетворенности, чтобы сам себя мужиком нормальным чувствовал...

...Она капризничала уже вторую неделю, все чаще начинала плакать безо всяких на то причин, как будто он был виноват в чем-то таком, о чем и не догадывался. А он и не догадывался, пока она, отфутболив его пару ночей, не объясняя никаких причин, вдруг в ответ на его раздраженное сопение в тишине не сказала вдруг: «Залетела я... У нас будет ребенок...» И он – еще не понимая смысла этого – произнес про себя: «У нас будет ребенок... У нас будет ребенок...», – как бы пытаясь понять – и что? И что теперь? Что будет дальше? И что это такое «У нас будет ребенок?...»

... – У нее будет ребенок!

Координатор Плана Ее Жизни повторил эту фразу, повторил еще, и еще раз, повторил просто – как констатацию факта, потому что для него ничего нового или необычного не было в этом факте. Так и должно было быть. Все шло по Плану. По Плану Ее Жизни, разработанному и утвержденному в тот момент, когда она только появилась на свет крошечным комочком из нескольких клеток и делилась, делилась, развиваясь в крохотный зародыш, потом – в плод, набирающий вес, рост и развивающий все необходимые жизненные функции. Все шло по Плану. Вся ее жизнь до сих пор шла по Плану, и этот этап был запрограммирован, и все произошло так, как должно было быть. И для него, Координатора Плана Ее Жизни, это значило только одно – сейчас начнется Планирование Жизни Ее Ребенка, в котором он должен принять участие. И это радовало его, потому что всегда это было интересное, волнующее действие – планировать жизнь нового человека, намечать события, поступки, обстоятельства и ситуации его жизни, которым он потом будет следовать. По которому его и поведет по жизни Координатор.

Координатор Плана Ее Жизни шел по Дворцу Планирования, проходя один длинный коридор за другим, минуя десятки дверей, выходящих в эти длинные коридоры, – за каждой из дверей сейчас шла работа по планированию новых жизней. Люди рождались ежесекундно, тысячи и тысячи людей, и работа во Дворце Планирования шла круглосуточно, непрерывно. Один План Жизни сменялся другим Планом Жизни, затем следующим, и все они – разные: яркие и тусклые, трагичные и успешные – были Планами Жизней конкретных людей, появившихся на свет и полностью отвечающих характеристикам этих людей.

Координатор Плана Ее Жизни нашел нужную дверь, вошел в длинную светлую комнату, в которой уже собрались координаторы Планов Жизней людей, которые будут участвовать в жизни только что появившейся в виде зародыша девочки, – ее родственников, участкового врача и первой учительницы, ее сверстников и будущего мужа... То, что это будет девочка, было известно из Ее и Его Планов Жизни, их первый ребенок должен был быть девочкой, следующие два должны были бы появиться мальчиками, но не появятся, согласно Планам их Жизни – они убьют этих детей, сделав аборт. Она не захочет больше переживать токсикоз и роды. Он не захочет переживать ее вредности в состоянии беременности и этого противного плача младенца. Девочка, которую они зачали – будет единственным их ребенком...

Первым, кого увидел Координатор Плана Ее Жизни, войдя в комнату, был Координатор Плана Его Жизни. Они улыбнулись друг другу, как улыбаются близкие люди, они и были близки – бок о бок они помогали своим подопечным следовать по Планам их Жизней.

– Ну что, у нас будет ребенок? – весело спросил Координатор Плана Его Жизни.

– Да, сейчас все начнется... – так же весело ответил его коллега. – Хотя что-то интересное начнет происходить в их жизнях – такая тусклая у них жизнь была запланирована до сих пор, что я просто рад появлению ребенка...

– Да, – согласился его коллега, – наконец-то начнутся запланированные конфликты, эмоции, переживания. А то не жизнь у них, а болото...

– Как запланировано, – все так же весело ответил коллега и развел руки в сторону, как бы говоря: «А что ты хотел – такие люди... У них ничего другого и не могло быть запланировано...»

Их диалог прервал вошедший в комнату Главный Координатор, и все тут же стали усаживаться по местам. Работа началась.

И начали они, как всегда, с момента вынашивания и проживания ребенком девяти месяцев во чреве матери. Здесь основными «докладчиками» и «информаторами» выступали Координаторы Ее и Его Планов Жизней.

– Мать истерична... Ребенок нежеланный... С мужем нет настоящей близости и открытости. Она будет переживать беременность тяжело, не принимая ребенка внутри себя, раздражаясь против него, против мужа, всего белого света... Тяжелый токсикоз... Нервное состояние... Конфликты с мужем, которого она будет обвинять в случившемся... Ребенок будет переживать ситуацию дискомфорта, ощущение ненужности и неценности будет закладываться с первых дней...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.